

Ольга Ильницкая

Три истории из жизни кота Платона

Пых

Сначала он выскочил из леса и орал как положено. Тощий, дражный, расцветкой на жужелку похожий. Жрал все, от сырого лука в маринаде под шашлык – до польской сметанки, в которую влез всеми лапами сразу.

Поверив в привалившее счастье, что он нашел тех самых, кто не оставит, в этом диком вологодском лесу, где до ближайшей избы сорок километров, подошел, внимательно посмотрел в глаза и сказал: «Пых!».

С этого момента он никогда не повышал голос, перестал разговаривать, как положено представителям его рода, периодически произнося свое философическое «пых», за что и назван был Платоном.

Платон серьезный двухгодовалый кот с белой стрелой на лбу, три ноги в перчатках – четвертая в валенке, белизны необычайной. А на груди у него такой же великолепной белизны ангел небесный с головой, упирающейся в подбородок. Голова же и уши – ярко-черные. А усы...

О, эти огромные, чуткие, подвижные, бело-огненные – прямо дымящиеся вокруг него усы! И брови! Словно облако вокруг головы.

Смотреть без недоумения на Платона не получалось. Интеллигентность его вышибала почву из-под ног. И всякий раз, произнося «животное» или «кот», я испытывала чувство стыда. Как-то не касались Платона эти определения.

Когда ему хотелось поговорить, обычно это происходило перед рассветом, раздавался определенный набор звуков – очень определенный, всегда один и тот же. Мелодичный – словно тихонько стеклянные колокольчики звякали сквозь серебро мурлыкания.

И если я не реагировала или реагировала не так, как ему хотелось, задерживаясь с ответом, потому что сон был в разгаре, где-нибудь в полтретьего-полчетвертого утра, он садился возле подушки.

Чувствуя его бесстрастный взгляд, я внутренне сопротивлялась, не отзывалась. И тогда он вежливо трогал меня за голову лапой. Когти выпускал с четвертого раза, не больно проводя по волосам, как бы причесывая. После этого отмалчиваться было уже невежливо. И мы беседовали.

Он мог укусить, общаясь, он вообще был диковатый зверь. Но голоса не повышал. А вчера я обнаружила, что в нем есть беличье. Во-первых, он перетекал по плоскости, не как беличья шкурка, распластанная полетом, а как белка в прыжке, наполненная движением, из самой себя происходящим. Сверкая бурой подпушкой глянцево-черной долгой шерсти, Платон взлетал по плоскости шкафа вверх, переливаясь внутри себя, как живая ртуть. И исчезал, недосыгаемый, замирая там, наверху.

Я влезла на стул и увидела, что он вглядывается в птицу, сидящую на березе, вдумчиво повторяя свое «пых».

...Катя сидела на полу. Они смотрели друг на друга, шло активное общение. Платон сказал ей свое «пых». Катя ответила – пых. Платон промолчал. Катя, наклонившись к его лицу, сказала «пых-пых».

Слегка помедлив, Платон отозвался, дважды пыхнув. И тогда, рассмеявшись, Катя сказала громко и весело: «Пых-пых, Платон!». А Платон поднял лапу, замахнулся раз, второй... и припечатал Катину щеку.

У меня шерсть дыбом поднялась от такой картинки. И я спросила: «Катя, а когти он выпустил?».

– Нет, – потрясенно прошептала Катя. – Он интеллигентно, без когтей вмазал.

Платон повернулся к нам и, подняв хвост трубой, вышел на балкон, закрыв за собой дверь.

– Фига себе! – сказал Сережа, также пронаблюдавший результаты общения. – Таки Платон, – и задумчиво: – Очень много шерсти. Как на медведе.

В этот вечер свое «пых» Платон больше не произносил, был задумчив, даже отрешен. А утром стало понятно, что он переживал. Потому что он ел, ел и ел. Как любой нормальный человек, которого задели, и ему не удалось справиться со своей обидой.

Мы стали ждать, когда же Платон снизойдет к нам со своего балконного поднебесья и скажет философически «пых». Дело уже к вечеру, а пыха все еще не было.

Поэтому я нервически весь день мою его тарелку, подкладывая новые и новые порции «Китекета». Он открывает лапой окно на кухне, проходит к тарелке, мрачно съедает и так же мрачно уходит назад, на балкон, на шкаф. Молча.

Ни тебе привета, ни тебе спасибо. Хочется подойти к нему и сказать «пых», но страшно обидеть. Я же не знаю, что обозначает это замечательное слово, произносимое на глубоком выдохе прониновенно и поучительно.

– Пых!

Платон и Паскаль

Водитель, беженец из Узбекистана, – с рисованным профилем, чудными миндалевидными глазами с хитринкой – говорил, по-московски акая:

– Садимся ужинать обязательно вместе. Мы почему-то стесняемся ужинать без него. Но ест он очень быстро, и когда время приходит пить чай, у него уже проблемная фаза. И этот аромат... вечно чай пьем не так, как нам хотелось бы. Но он такой белый и пушистый, что всякий раз, садясь за стол, стесняемся не пригласить, забывая, как быстро он жрет, сволочь.

Я спросила водителя, давно ли он в Москве.

– Восьмой год. А вот мама только приехала. Никак прижиться не может. И русский плохо знает. Но кот ее понимает. Они вообще быстро поладили.

Теперь у нас за чаем проблемы иного качества. Мама делит его порцию на две части – и возникает необходимая для чаепития пауза. Это позволяет отодвинуть тот самый «приятный» момент, когда кот начинает загребать, стуча когтями так, что всякий раз думаю: стригут же собакам когти, а котам?..

При маме мы пьем чай в теплой дружной компании, и чай пахнет бергамотом, а не обормотом. Ну, а когда чашки мыть начинаем, тогда уж все... как обычно.

Сволочить его перестали. Ох, и не любит он, когда – сволочью! Запомнил и не простил, и чай для него всегда повод к вредительству. Ну, тогда мы и ругаемся. А он как услышит, уходит за торшер обижаться. Я ему говорю, прячься где-нибудь в другом месте. Но он очень глупый.

С мамой – дружит. И понимает только ее. А она-то с ним по-узбекски разговаривает... Я раскусил, в чем дело. Интонации важны. Все дело в интонациях. А мама слова этого ругательного по-русски не знает.

Надир все рассказывал о том, как жили под Ташкентом, и там тоже был кот, и собака, и две козы.

Язык Надира, точный и озорной, удивил меня. Спросила, откуда русский выучил так.

– Как, – сощурился, – я ж в нашем Союзе учился, на философском. Преподавали на русском, как везде, да и жили мы на русском, – поправился, – по-русски. И коз наших величали Дашкой да Машкой.

И вдруг резко:

– Я почти защитился. Но – бежал. Когда резня началась.

...Ехала я грустная, и не просто ехала в этой мало приспособленной к «бомбежке» машине – столько в ней было хлама всякого доброго: книжка, кукла, газеты... – а возвращалась, оставив друга своего Платона на временное проживание в доме друга своего Катерины. Но расстаться с Платоном предстояло надолго.

Катя успокаивала:

– Да когда он тебя выбирал, я рядом стояла. Он ко мне привычен, поладим.

...Еду, вспоминаю, как Платон отреагировал на главную хозяйку дома, спаниеля Леську, взлетев на тумбочку, с грохотом скинув

цветочный горшок. Как, устраиваясь, перепуганно подобрал под себя лапы. Утробно зарычал.

Зверское урчание было таким глубоким и низким, вибрация – так устрашающая, что удивленная Леся перестала улыбаться, ошарашенно уставившись на Платона.

Платон был зол, зол, зол. Я – в перепуге. Потому долго не уезжала, ждала – и дождалась. Он вынул из-под себя лапы, перестал чрево вещать и сказал внятно – ну, в общем, иди... раз тебе так надо. Иди... – пых-пых-пых.

Грустно смотрю на интеллигентный профиль Надира, слушаю о его белом и пушистом, но глупом. Невежливо говорю:

– А мой Платон умница. Философ, – и осекаюсь.

Надир смеется:

– Не смущайтесь, теперь я философствую, лишь когда бомблю. Остальное время отсыпаюсь. Слишком часто бомбить приходится.

А белый действительно глуп. Так и не научил его прятаться. Да и с кошачьим домиком проблема – гадить предпочитает специально, наверное, когда мы чаевничаем. И орет дурным голосом.

– Как зовут вашего глупого?

Хмыкнул:

– Паскалем.

Время сунок

Платон не спускал с меня взгляда. Я проснулась оттого, что два золотистых солнца прожгли мой сон насквозь. Надев очки, поверх стекол посмотрела в упор. Платон зажмурил глаза, а я забегала по комнате в поисках блокнота. Не написав ни слова, легла и отключилась внезапно, так же, как проснулась, – и опять почувствовала взгляд. Пришлось раскрыть блокнот. Текст пошел сразу, но на второй странице Платон стал подбивать локоть. Текст застопорился. Я поняла, что Платон возражает, но часть истории уже была записана...

Сюда просыпаться не любила. Это было опасное место. Мне приходилось долго сидеть на перекрестке улиц города, похоже-

го на Барселону, но не Барселоны... До тех пор, пока не приходил Костриди с вечной фразочкой. Произносил он ее с ухмылкой, и я не выносила этого:

– Опять вляпалась? И опять не отследила сбой кода?..

Ко брал меня за руку и вел в ближайшую кафешку, заказывал пиво, а я уходила в дамскую комнату. В кармане рабочего хитона всегда лежал коробок, из которого вытаскивалась паутинка скорой помощи. Заменяв хитон на голубую тунику из тончайшего шелка, в каких ходили местные, шла к Костриди. Мы обсуждали, как вернуть меня в лабиринт Альмаира, где предстояло разгадать тайну повторяющейся фразы: «Профессор, я всегда вспоминаю три желтых позвонка».

У Костриди проблем с возвращением не было. Его не клинило, и резьбу не срывало – он никогда не сбивал код. А со мной что-то было не так. С этим предстояло разобраться. И вдруг Ко спросил:

– А что Платон? Ты продолжаешь свиданничать с ним?

Я отвернулась.

– Думаю, дело в Платоне. То есть в тебе, – поправился Ко. – Отключись, пожалуйста, не отзывайся и не корректируй. Ты должна быть здесь безвылазно. Не устраивай пробои времени и месту.

– А то ты вынужден будешь вставить в отчет лирическое отступление обо мне и Платоне? Ты знаешь, для кого пишешь отчеты?

– Нет, – спокойно ответил. – Не имеет значения. Имеет значение только одно: есть ли о чем, и пишу ли я их...

В Альмаире, на высоком берегу Днери, я жила жизнью странной. Были дни, когда, глядя вниз, на город, видела Помилура, тренирующего своих дьяри. Дьяри на огромных драконьих лапах гонялись за его синей тенью, сами сине-зеленые, хлопая клювами так, что я отвлекалась от своего дела. В это время я обычно сидела на теплом ракушняковом полу пещеры и двигала взглядом слева направо и наоборот магнитофон, иногда пытаюсь его поворачивать. Поворот вызывал особенные затруднения. Не хватало выдоха. Обычно это было предзакатное время, золотившее все вокруг утомленными за день жара лучами: горы, крыши города внизу, зеленые острова парков, ровное кольцо реки,

обрамляющее город-остров... Солнце здесь бывало высоким и безжалостным, но к четырем часам сдавалось.

А то, бывало, доносились голоса из лабиринта. Я шла на них; неуловимые, они звучали глухо. Вот и теперь: «Профессор, я всегда вспоминаю три желтых позвонка»... И тишина. Голоса за очередным поворотом затихали. Никогда не удавалось настичь их. Думаю: из какого тысячелетия прорывались они ко мне?

Пещера, в которой я жила, как бы половинкой яичной скорлупы накрывала меня, и в этом домике я чувствовала себя комфортно. На скошенном полу, как бы стекающем к выходу, кроме пролвинировой подстилки и магнитофона у скошенной стены, стояли таз нефритовый, большой и тяжелый, лукавой овальной формы, и высокий пластиковый кувшин. Проблем с водой у меня никогда не было – выливала из кувшина в таз, мылась, а потом нефрит оказывался пустым и сухим, а кувшин полным водой студеной, сине-зеленой и прозрачной, и так всякий раз. Я уже не заморачивалась думать об этом. Рюкзак лежал у выхода из пещеры, у более низкого среза «яйца» – всегда самоосвещенного тем предвечерним, как бы волшебным светом, какой наблюдала в Летнем саду Петербурга и здесь, когда солнце опускалось за Кирозямой, далеко внизу отсветы его со дна процессора (над установкой его долго колдовал Костриди) фокусировались в моей пещере Джормидогери...

По винтовой дороге из города поднимался Костриди, близилось время нашего общего планового времени, «нашей совместности», – шутил, как обычно, Ко. Он вошел и хвастливо сказал:

– Видишь, вот, купил на ярмарке.

Я фыркнула: на обгоревшем торсе, мочуем и всегда смущавшем белизной, а сегодня красном от возмущения солнцем, болталась черная со спины майка, серая спереди, в мелких цветах.

– Ко, это женская майка, ты все время покупаешь женские майки.

Ко удивился. Поправил бандану – она тоже была в тон майке, графитовая с мелкими белыми цветами арукар.

– Наверное, у меня женская сущность...

Но я перебила, не дослушав:

– У меня получилось, Ко! Смотри внимательно. Я покажу.

И я сосредоточилась взглядом на том месте, где только что стоял магнитофон. Но его там уже не было. Ко стибрил его и, ухмыляясь, ждал, чтобы я начала возню. И мы ткнулись друг в друга, но Ко отпрянул, протянув маг:

– Давай, показывай!

– А по-моему, не до того. Тебя кефиром надо смазать, – поняла я, почему он вдруг отпрянул. – Больно?

В этот момент мы узнали, что уже не одни. Ко тоже услышал сначала покашливание и: «Профессор, я всегда помню эти три желтых позвонка»... И мы побежали на голоса.

Шли девятые сутки нашего внедрения во времена сунок.

...А когда я просыпалась на площади и прямо из моей пещеры выходила на угол улиц Берди и Крига, я знала: начались непредвиденности, сбой кода. Но проходившие мимо не обращали на меня внимания. За спиной я ощущала лабиринт, а вернуться в него не могла. Мне иногда подавали. Я не любила сюда просыпаться, это было опасное место.

Вот и в этот раз. Я просто сидела и ждала, когда Костриди отследит, появится и уведет меня отсюда. И Ко появился. Но в этот момент я увидела на тротуаре кота. Костриди тоже его увидел и сказал:

– Доигралась! Что делать будем?

– Это не Платон, – сказала я.

– Вижу! Не хватало еще Платона здесь.

– Ну, так зачем же что-то делать?

– Чтобы в следующий раз ты не приперла сюда Платона! Ты подумала о хозяйке этого? Где ей его искать?

– Вернуть не сможем?

– Нет. И, кроме того, ты хоть одного кота в Альмаире видела? Это первый кот в этом мире.

И мы забрали этого пришельца с собой в Джормидогери. Но до этого предстояла обычная процедура внедрения меня в лабиринт через кафе. Как пронести туда с собой кота?

Ко вытащил из кармана коробок, из него – рюкзак, и бедный кот оказался котом в мешке. А дальше было новое утро, и я правильно проснулась в новом дне в пещере лабиринта высоко над городом Альмаир времени сунок.

В этом дне мы с Ко решили настичь голоса.

– Ты сначала вызови их, сконцентрируйся, – проворчал Ко.

Я концентрировалась, но этот кот... Он все время мурлыкал, терся, ему жутко нравилась и пещера, и пролвинир, который он драл когтями, но больше ему нравилось убежать в лабиринт, и приходилось его отлавливать. Он опять удрал сегодня в самый неподходящий момент, когда уже почти получилось. Только нам пришлось прерваться и идти не на голоса, а на поиски кота.

И мы дошли... этот странный кот и привел нас к трем желтым позвонкам. Они лежали прямо под ногами, фосфоресцируя в мягкой темноте рукава лабиринта, достаточно далекого от пещеры и на большой глубине. Кот сидел рядом и замороженно на них смотрел. Через некоторое время оказалось: мы так же, как и он, сидим и так же замороженно смотрим. И Ко произнес:

– Так вот почему голос все время помнит про три желтых позвонка! Невозможно взгляда отвести... Как же им удалось уйти от позвонков? Куда они ушли? Когда? И кто они?

– Думаю, мы никогда не узнаем об этом, – ответила. – Мы не сможем оторвать взгляда и задниц. Может быть, это были мы сами?..

– Не думаю, что надо так думать, – почему-то прошептал Ко. – Мы не могли бы слышать самих себя, и потом – я не профессор. Ты тоже. Смотри!

Кот, как бы охотясь, подкрался к позвонкам ближе – и вдруг начал скрести.

– Он закапывает их? – спросила.

– Нет, он откапывает!

Неожиданно почва как бы расступилась, и через некоторое время обнажилось продолжение позвонков. Кот откопал скелет. находка очень не понравилась ему. Кот лег рядом, и стало понятно, что пришелец никакой не пришелец, а второй – в этом месте и времени. Мурлыканье превратилось в музыку печальную, хриплую и затихло. Они лежали рядом: застывшая меховая музыка – словно звук заледенел – и светящиеся позвонки. Скоро точно такие же три засветились среди густого меха... Мы замерли.

– Твой Платон маг, – сказал Ко.

– Это не Платон. Ай да я, – сказала я, – ай да сукин сын!

– Не примазывайся к чужой славе. Ты не Пушкин, не Платон. Ты существо с нарушенным кодом, и вечно из-за тебя мы попадаем в истории. Эта – странная и печальная. Пора возвращаться.

Но ушли не сразу.

Мы закопали его рядом. Время схлопнулось. Не было в Альмаи́ре котов. Все стало на свои места.

Отчет Ко писал в тяжелейшем состоянии духа: «Мы давно преодолели смерть, и вот теперь – опять возвращение туда, где встречи с ней возможны. Это позволяет нам датировать с точностью до дня время сунок».

– О! Ты помнишь, когда изобрели вечную жизнь? Так я ставлю эту дату? И он написал: «Время – Пасха. Вознесение Господне – переход, отмечаемый на 40-й день, в честь вознесения плоти Иисуса Христа и обетования о Его втором пришествии».

